

# Детство

**Автор:**

Максим Горький

Детство

Максим Горький

Школьная библиотека (Детская литература)

В книгу вошла первая повесть знаменитой автобиографической трилогии «Детство», «В людях», «Мои университеты».

В ней писатель рассказывает о трудных годах своего детства.

Максим Горький

(Пешков Алексей Максимович)

Детство

© Издательство «Детская литература». Оформление серии, 2002

© В. Карпов. Вступительная статья, словарь, 2002

© Б. Дехтерев. Рисунки, наследники

© А. Яр-Кравченко. Портрет автора, наследники

1868-1936

Книга о скудости и богатстве души человеческой

Эту книгу читать тяжело. Хотя, казалось бы, никого из нас сегодня не удивить описанием самых изощренных жестокостей в книгах и на экране. Но все это жестокости комфортные: они – понарошку. А в повести М. Горького все – взаправду.

Повесть названа автором очень просто – «Детство» (1913). Но сказать однозначно, что она адресована детям, нельзя. Читать ее может любой человек, ощущающий себя духовно взрослым, что не зависит от возраста.

О чем же эта книга? О том, как жили «униженные и оскорбленные» в эпоху зарождения капитализма в России? Да нет, это о людях, которые унижали и оскорбляли сами себя, независимо от строя, – капитализма или другого «изма». Эта книга о семье, о русской душе, о Боге. То есть – о нас с вами.

Писатель Алексей Максимович Пешков, назвавший себя Максимом Горьким (1868-1936), действительно приобрел горький жизненный опыт. И для него, человека, обладавшего художественным даром, вставал нелегкий вопрос: что делать ему, популярному писателю и уже состоявшемуся человеку, – постараться забыть о тяжелом детстве и юности, как о страшном сне, или, лишний раз бередя собственную душу, рассказать читателю неприятную правду о «темном царстве». Может, и удастся кого-то предостеречь от того, как нельзя жить, если ты человек. И что делать тому человеку, который зачастую живет темно и грязно? Отвлечься от настоящей жизни красивыми сказками или осознать всю неприятную правду о своей жизни? И Горький дает ответ на этот вопрос уже в 1902 году в своей знаменитой пьесе «На дне»: «Ложь – религия рабов и хозяев, правда – Бог свободного человека!» Здесь же, чуть дальше, есть не менее интересная фраза: «Надо уважать человека!.. не унижать его жалостью... уважать надо!»

Вряд ли писателю было легко и приятно вспоминать о собственном детстве: «Теперь, оживляя прошлое, я сам порою с трудом верю, что все было именно так,

как было, и многое хочется оспорить, отвергнуть, – слишком обильна жестокостью темная жизнь „неумного племени“. Но правда выше жалости, и ведь не про себя я рассказываю, а про тот тесный, душный круг жутких впечатлений, в котором жил, – да и по сей день живет, – простой русский человек».

Уже давно в художественной литературе существует жанр автобиографической прозы. Это рассказ автора о собственной судьбе. Факты из своей биографии писатель может преподносить с разной степенью точности. «Детство» М. Горького – реальная картина начала жизни писателя, начала очень трудного. Вспоминая свое детство, Алексей Максимович Пешков старается понять, как формировался его характер, кто и какое влияние оказал на него в те далекие годы: «В детстве я представляю сам себя ульем, куда разные простые серые люди сносили, как пчелы, мед своих знаний и дум о жизни, щедро обогащая душу мою кто чем мог. Часто мед этот бывал грязен и горек, но всякое знание – все-таки мед».

Что же за человек главный герой повести – Алеша Пешков? Ему повезло родиться в семье, где отец и мать жили в настоящей любви. А потому своего сына они не воспитывали, они его – любили. Этот заряд любви, полученный в детстве, позволил Алеше не пропасть, не ожесточиться среди «неумного племени». Ему было очень трудно, так как душа его не переносила человеческой дикости: «.. иные впечатления только обижали меня своей жестокостью и грязью, возбуждая отвращение и грусть». А все потому, что его родственники и знакомые чаще всего – бессмысленно жестокие и невыносимо скучные люди. Часто испытывает Алеша чувство острой тоски; его даже посещает желание уйти из дома с ослепшим мастером Григорием и скитаться, прося подаяние, лишь бы не видеть пьяниц дядьёв, самодура-деда и забитых двоюродных братьев. Тяжело было мальчику и потому, что у него было развито чувство собственного достоинства: не терпел он никакого насилия ни по отношению к себе, ни к другим. Так, Алеша говорит, что не мог выносить, когда уличные мальчишки мучали животных, издевались над нищими, он всегда был готов вступить за обиженного. Оказывается, что в этой жизни непросто и человеку честному. А родители и бабушка воспитали в Алеше ненависть ко всякой лжи. Душа Алеши страдает от хитрости его братьев, вранья его знакомого дяди Петра, от того, что ворует Ваня Цыганок.

Так, может быть, постараться забыть о чувстве достоинства и честности, стать таким, как все? Ведь жить станет легче! Но не таков герой повести. В нем живет

острое чувство протеста против неправды. Защищаясь, Алеша может даже допустить грубую выходку, как это случилось, когда, мстя за избитую бабушку, мальчик испортил любимые Святцы деда. Немного повзрослев, Алеша с увлечением участвует в уличных драках. Это не обычное хулиганство. Это способ снять душевное напряжение – ведь вокруг царит несправедливость. На улице парень в честном поединке может победить противника, а в обычной жизни несправедливость чаще всего избегает честной схватки.

Таких, как Алеша Пешков, сейчас называют трудными подростками. Но если взглянуть в героя повести, заметишь, что этот человек тянется к добру и красоте. С какой любовью он рассказывает о душевно талантливых людях: о своей бабушке, Цыганке, о компании уличных верных друзей. Он даже в своем жестоком деде старается найти лучшее! И просит он у людей одного – доброго человеческого отношения (вспомните, как меняется этот затравленный паренек после задушевной беседы с ним доброго человека – епископа Хрисанфа)...

В повести люди часто оскорбляют и избивают друг друга. Плохо, когда осознанная жизнь человека начинается со смерти любимого отца. Но еще хуже, когда ребенок живет в атмосфере ненависти: «Дом деда был наполнен горячим туманом взаимной вражды всех со всеми; она отравляла взрослых, и даже дети принимали в ней горячее участие». Вскоре после приезда в дом родителей матери Алеша получил первое по-настоящему оставшееся в памяти впечатление от детства: родной дед избил его, маленького ребенка, до полусмерти. «С тех дней у меня явилось беспокойное внимание к людям, и, точно мне содрали кожу с сердца, оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли, своей и чужой», – вспоминает об одном из самых памятных событий в своей жизни человек уже не первой молодости.

Другого способа воспитания в этой семье не знали. Старшие всячески унижали и били младших, думая, что добиваются таким образом уважения. Но ошибка этих людей в том, что они путают уважение со страхом. Был ли природным извергом Василий Каширин? Думается, нет. Он, по-своему убогий, жил по принципу «не нами заведено, не нами и закончится» (по которому и сейчас живут многие). Какая-то даже гордость звучит в его поучении внуку: «Когда свой, родной бьет – это не обида, а наука! Чужому не давайся, а свой – ничего! Ты думаешь, меня не били? Меня, Олеша, так били, что ты этого и в страшном сне не увидишь. Меня так обижали, что, поди-ка, сам Господь Бог глядел – плакал! А что вышло? Сирота, нищей матери сын, а вот дошел до своего места – старшиной цеховым сделан, начальник людям».

Стоит ли удивляться, что в такой семье «дети были тихи, незаметны; они прибиты к земле, как пыль дождем». Ничего странного нет и в том, что в такой семье выросли звероподобные Яков и Михаил. Сравнение их с животными возникает при первом же знакомстве: «.. дядья внезапно вскочили на ноги и, перегибаясь через стол, стали выть и рычать на дедушку, жалобно скаля зубы и встряхиваясь, как собаки...» И то, что Яков играет на гитаре, еще не делает его человеком. Ведь душа-то его тоскует вот о чем: «Быть бы Якову собакою – Выл бы Яков с утра до ночи: Ой, скушно мне! Ой грустно мне». Эти люди не знают, зачем живут, а потому и мучаются от смертельной скуки. А когда своя жизнь – тяжелая обуза, появляется тяга к разрушению. Так, Яков забил до смерти собственную жену (и не сразу, а изощренно пытая годами); по-настоящему изводит жену Наталью и другой изверг – Михаил. Зачем они это делают? На этот вопрос отвечает Алеше мастер Григорий: «Зачем? А он, поди, и сам не знает... Может, за то бил, что была она лучше его, а ему завидно. Каширины, брат, хорошего не любят, они ему завидуют, а принять не могут, истребляют!» К тому же перед глазами с детства пример родного отца, зверски бьющего мать. И это – норма! Это самая омерзительная форма самоутверждения – за счет слабого. Таким, как Михаил и Яков, очень хочется выглядеть сильными и мужественными, но в глубине души они чувствуют себя ущербными. Такие, чтобы хоть ненадолго почувствовать уверенность в себе, куражатся над близкими. А по сути своей они – настоящие неудачники, трусы. Сердца их, отверженные от любви, питаются не только беспричинной яростью, но еще и завистью. Жестокая война начинается между братьями за отцовское добро. (Интересная все-таки штука – русский язык! В своем первом значении слово «добро» обозначает все положительное, хорошее; во втором же – барахло, которое можно потрогать руками.) И в этой войне все средства сгодятся, вплоть до поджога и убийства. Но и получив наследство, братья не обретают покоя: не построишь счастья на лжи и крови. Михаил, тот вообще теряет всякий человеческий облик и приходит к отцу с матерью с одной целью – убить. Ведь, по его мнению, виноват в том, что жизнь прожита по-свински, не он сам, а кто-то другой!

Горький в своей книге много размышляет о том, почему русский человек зачастую жесток, почему делает свою жизнь «серой, безжизненной чепухой». И вот еще один из его ответов самому себе: «Русские люди, по нищете и скудости жизни своей, вообще любят забавляться горем, играют им, как дети, и редко стыдятся быть несчастными. В бесконечных буднях и горе – праздник, и пожар – забава; на пустом месте и царапина – украшение...» Однако не всегда читатель обязан доверять прямым оценкам автора.

Речь в повести идет далеко не о бедных людях (по крайней мере, не сразу они беднеют), их достаток вполне позволят им жить по-человечески во всех смыслах. Но по-настоящему хороших людей в «Детстве» найдешь, скорее, среди малоимущих: Григорий, Цыганок, Хорошее Дело, бабушка Акулина Ивановна, происходившая из бедной семьи. Значит, не в бедности или богатстве дело. Дело в скудости душевной и духовной. Ведь не было же никаких богатств у Максима Савватеевича Пешкова. Но это не помешало ему быть удивительно красивым человеком. Честный, открытый, надежный, работающий, с чувством собственного достоинства, любить умел красиво и неоглядно. Вина не пил, что в России редкость. И стал Максим судьбой для Варвары Пешковой. Он не то что не бил жену и сына, айв мыслях не держал оскорбить их. И остался самым светлым воспоминанием и примером для сына на всю жизнь. Завидовали люди счастливой и дружной семье Пешковых. И эта мутная зависть толкает вырождков Михаила и Якова на убийство зятя. Но чудом оставшийся в живых Максим проявляет милосердие, спасая братьев жены от верной каторги.

Бедная, несчастная Варвара! Верно, уж Богу угодно было дать ей такого мужчину – мечту любой женщины. Удалось ей вырваться из того удушливого болота, где она родилась и выросла, познать настоящее счастье. Да недолго длилось оно! Ушел из жизни Максим до обидного рано. И с тех пор жизнь Варвары пошла наперекосяк. Бывает, так складывается женская доля, что никакой замены тому единственному не находится. Показалось, что может она найти если не счастье, то покой с Евгением Максимовым, образованным человеком, дворянином. Но под внешним лоском его скрывалось, как оказалось, ничтожество, не лучше тех же Якова и Михаила.

Удивительно в этой повести то, что автор-рассказчик не испытывает ненависти к тем, кто калечил его детство. Маленький Алеша хорошо усвоил урок своей бабушки, сказавшей о Якове и Михаиле: «Они – не злые. Они просто – глупые!» Понимать это нужно в том смысле, что они конечно же злые, но еще и – несчастные в убожестве своем. Раскаяние иногда все-таки размягчает эти засохшие души. Яков вдруг начинает рыдать, бить себя по лицу: «Что это такое, что?...Зачем это? Негодяй и подлец, разбитая душа!» Василий Каширин, человек гораздо более умный и сильный, и мучается сильнее и чаще. Понимает старик, что его жестокость унаследовали и дети-неудачники, потрясенно жалуется Богу: «В горестном возбуждении доходя до слезливого воя, совался в угол, к образам, бил с размаху в сухую, гулкую грудь: „Господи, али я грешней других? За что-о?“» Однако этот жесткий самодур достоин не только жалости, но и уважения. Ибо никогда он в протянутую руку непутевого сына или дочери не вложил вместо хлеба камень. Во многом он сам искалечил своих сыновей. Но и

поддерживал же! Спасал от службы в армии (о чем горько потом сожалел), от тюрьмы; разделив имущество, целыми днями пропадал в мастерских сыновей, помогая наладить дело. А чего стоит эпизод, когда озверевший Михаил и его дружки, вооруженные колами, ломятся в дом Кашириных. Отец в эти страшные минуты озабочен главным образом тем, чтобы сына не ударили в схватке по голове. Волнует его и судьба Варвары. Василий Каширин понимает, что жизнь его дочери не задалась, и отдает, по сути, последнее, только чтобы обеспечить Варвару.

Как уже говорилось, эта книга не только о жизни семьи, о быте, но и о Боге. Точнее, о том, как верует в Бога простой русский человек. А в Бога, оказывается, можно верить по-разному. Ведь не только Бог создал человека по своему образу и подобию, но и человек постоянно творит Бога по своей собственной мерке. Так, для деда Василия Каширина, человека деловитого, сухого и жесткого, Бог – строгий надзиратель и судья. Его Бог именно и прежде всего наказывает и мстит. Не зря, вспоминая Священную историю, дед всегда рассказывает эпизоды мучений грешников. Религиозные установления Василий Васильевич понимает, как солдат понимает воинский устав: вызубрить, не рассуждать и не прекословить. Знакомство маленького Алеши с христианством начинается в семье деда с зубрежки молитвенных формул. И когда ребенок начинает задавать невинные вопросы по тексту, его испуганно обрывает тетка Наталья: «Ты не спрашивай, это хуже! Просто говори за мною: „Отче наш...“» Обращение к Богу для деда – строжайший, но и радостный ритуал. Он знает огромное количество молитв и псалмов наизусть и с упоением повторяет слова Священного Писания, часто не задумываясь даже, что они означают. Его, необразованного человека, наполняет радостью уже то, что он говорит не грубым языком повседневности, но возвышенным строем «божественной» речи.

Иной Бог у бабушки Акулины Ивановны. Она как раз не знаток священных текстов, но это нисколько не мешает ей верить горячо, искренне и по-детски наивно. Ибо только такой и может быть истинная вера. Сказано: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мтф., 18,1). Бабушкин Бог – милосердный заступник, одинаково любящий всех. И вовсе не всезнающий и всемогущий, но частенько и плачущий над несовершенством мира, и сам достойный жалости и сострадания. Бог для бабушки – сродни светлому и справедливому герою народной сказки. К нему, как к самому близкому, можно обратиться с своим, сокровенным: «Варваре-то улыбнулся бы радостью какой! Чем она тебя прогневала, чем грешней других? Что это: женщина молодая, здоровая, а в печали живет. И вспомяни, Господи, Григорья, – глаза-то у него все хуже...» Именно такая молитва, пусть и лишенная

установленного порядка, но искренняя, до Бога и дойдет скорее. И за всю свою тяжелую жизнь в мире жестоком и грешном бабушка благодарит Господа, который помогает людям далеким и близким, любит и прощает их.

Повесть М. Горького «Детство» показывает нам, читателям, что можно и нужно в самых трудных жизненных условиях не ожесточаться, не становиться рабом, но оставаться Человеком.

В. А. Карпов

Детство

Сыну моему посвящаю

I

В полутемной тесной комнате, на полу, под окном, лежит мой отец, одетый в белое и необыкновенно длинный; пальцы его босых ног странно растопырены, пальцы ласковых рук, смиренно положенных на грудь, тоже кривые; его веселые глаза плотно прикрыты черными кружками медных монет, доброе лицо темно и пугает меня нехорошо оскаленными зубами.

Мать, полуголая, в красной юбке, стоит на коленях, зачесывая длинные мягкие волосы отца со лба на затылок черной гребенкой, которой я любил перепиливать



корки арбузов; мать непрерывно говорит что-то густым, хрипящим голосом, ее серые глаза опухли и словно тают, стекая крупными каплями слез.

Меня держит за руку бабушка, – круглая, большеголовая, с огромными глазами и смешным рыхлым носом; она вся черная, мягкая и удивительно интересная; она тоже плачет, как-то особенно и хорошо подпевая матери, дрожит вся и дергает меня, толкая к отцу; я упираюсь, прячусь за нее; мне боязно и неловко.

Я никогда еще не видал, чтобы большие плакали, и не понимал слов, неоднократно сказанных бабушкой:

– Попрощайся с тятей-то, никогда уж не увидишь его, помер он, голубчик, не в срок, не в свой час...

Я был тяжело болен, – только что встал на ноги; во время болезни, – я это хорошо помню, – отец весело возился со мною, потом он вдруг исчез, и его заменила бабушка, странный человек.

– Ты откуда пришла? – спросил я ее. Она ответила:

– Сверху, из Нижнего, да не пришла, а приехала! По воде-то не ходят, шиш!

Это было смешно и непонятно: наверху, в доме, жили бородатые крашенные персияне, а в подвале старый желтый калмык продавал овчины. По лестнице можно съехать верхом на перилах или, когда упадешь, скатиться кувырком, – это я знал хорошо. И при чем тут вода? Всё неверно и забавно спутано.

– А отчего я шиш?

– Оттого, что шумишь, – сказала она, тоже смеясь. Она говорила ласково, весело, складно. Я с первого же дня подружился с нею, и теперь мне хочется, чтобы она скорее ушла со мною из этой комнаты.

Меня подавляет мать; ее слезы и вой зажгли во мне новое, тревожное чувство. Я впервые вижу ее такую, – она была всегда строгая, говорила мало; она чистая, гладкая и большая, как лошадь; у нее жесткое тело и страшно сильные руки. А сейчас она вся как-то неприятно вспухла и растрепана, всё на ней разорвалось;

волосы, лежавшие на голове аккуратно, большою светлой шапкой, рассыпались по голому плечу, упали на лицо, а половина их, заплетенная в косу, болтается, задевая уснувшее отцово лицо. Я уже давно стою в комнате, но она ни разу не взглянула на меня, – причесывает отца и всё рычит, захлебываясь слезами.

В дверь заглядывают черные мужики и солдат-будочник. Он сердито кричит:

– Скорее убирайте!

Окно занавешено темной шалью; она вздувается, как парус. Однажды отец катал меня на лодке с парусом. Вдруг ударил гром. Отец засмеялся, крепко сжал меня коленями и крикнул:

– Ничего, не бойся, Лук!

Вдруг мать тяжело взметнулась с пола, тотчас снова осела, опрокинулась на спину, разметав волосы по полу; ее слепое, белое лицо посинело, и, оскалив зубы, как отец, она сказала страшным голосом:

– Дверь затворите... Алексея – вон! Оттолкнув меня, бабушка бросилась к двери, закричала:

– Родимые, не бойтесь, не троньте, уйдите Христа ради! Это – не холера, роды пришли, помилуйте, батюшки!

Я спрятался в темный угол за сундук и оттуда смотрел, как мать извивается по полу, охая и скрипя зубами, а бабушка, ползая вокруг, говорит ласково и радостно:

– Во имя Отца и Сына! Потерпи, Варюша! Пресвятая Мати Божия, заступница...

Мне страшно; они возятся на полу около отца, задевают его, стонут и кричат, а он неподвижен и точно смеется. Это длилось долго – возня на полу; не однажды мать вставала на ноги и снова падала; бабушка выкатывалась из комнаты, как большой черный мягкий шар; потом вдруг во тьме закричал ребенок.

– Слава Тебе, Господи! – сказала бабушка. – Мальчик!

И зажгла свечу.

Я, должно быть, заснул в углу, – ничего не помню больше.

Второй оттиск в памяти моей – дождливый день, пустынный угол кладбища; я стою на скользком бугре липкой земли и смотрю в яму, куда опустили гроб отца; на дне ямы много воды и есть лягушки, – две уже взобрались на желтую крышку гроба.

У могилы – я, бабушка, мокрый будочник и двое сердитых мужиков с лопатами. Всех осыпает теплый дождь, мелкий, как бисер.

– Зарывай, – сказал будочник, отходя прочь.

Бабушка заплакала, спрятав лицо в конец головного платка. Мужики, согнувшись, торопливо начали сбрасывать землю в могилу, захлюпала вода; спрыгнув с гроба, лягушки стали бросаться на стенки ямы, комья земли сшибали их на дно.

– Отойди, Леня, – сказала бабушка, взяв меня за плечо; я выскользнул из-под ее руки, не хотелось уходить.

– Экой ты, Господи, – пожаловалась бабушка, не то на меня, не то на Бога, и долго стояла молча, опустив голову; уже могила сравнялась с землей, а она всё еще стоит.

Мужики гулко шлепали лопатами по земле; налетел ветер и прогнал, унес дождь. Бабушка взяла меня за руку и повела к далекой церкви, среди множества темных крестов.

– Ты что не поплачешь? – спросила она, когда вышла за ограду. – Поплакал бы!

– Не хочется, – сказал я.

– Ну, не хочется, так и не надо, – тихонько выговорила она.

Всё это было удивительно: я плакал редко и только от обиды, не от боли; отец всегда смеялся над моими слезами, а мать кричала:

- Не смей плакать!

Потом мы ехали по широкой, очень грязной улице на дрожках, среди темно-красных домов; я спросил бабушку:

- А лягушки не вылезут?

- Нет, уж не вылезут, - ответила она. - Бог с ними!

Ни отец, ни мать не произносили так часто и родственно имя Божие.

Через несколько дней я, бабушка и мать ехали на пароходе, в маленькой каюте; новорожденный брат мой Максим умер и лежал на столе в углу, завернутый в белое, спеленатый красною тесьмой.

Примостившись на узлах и сундуках, я смотрю в окно, выпуклое и круглое, точно глаз коня; за мокрым стеклом бесконечно льется мутная, пенная вода. Порою она, вскидываясь, лижет стекло. Я невольно прыгаю на пол.

- Не бойся, - говорит бабушка и, легко приподняв меня мягкими руками, снова ставит на узлы.

Над водою - серый, мокрый туман; далеко где-то является темная земля и снова исчезает в тумане и воде. Всё вокруг трясется. Только мать, закинув руки за голову, стоит, прислонясь к стене, твердо и неподвижно. Лицо у нее темное, железное и слепое, глаза крепко закрыты, она всё время молчит, и вся какая-то другая, новая, даже платье на ней незнакомо мне.

Бабушка не однажды говорила ей тихо:

- Варя, ты бы поела чего, маленько, а? Она молчит и неподвижна.

Бабушка говорит со мною шепотом, а с матерью – громче, но как-то осторожно, робко и очень мало. Мне кажется, что она боится матери. Это понятно мне и очень сближает с бабушкой.

– Саратов, – неожиданно громко и сердито сказала мать. – Где же матрос?

Вот и слова у нее странные, чужие: Саратов, матрос. Вошел широкий седой человек, одетый в синее, принес маленький ящик. Бабушка взяла его и стала укладывать тело брата, уложила и понесла к двери на вытянутых руках, но, – толстая, – она могла пройти в узенькую дверь каюты только боком и смешно замялась перед нею.

– Эх, мамаша! – крикнула мать, отняла у нее гроб, и обе они исчезли, а я остался в каюте, разглядывая синего мужика.

– Что, отошел братишка-то? – сказал он, наклонясь ко мне.

– Ты кто?

– Матрос.

– А Саратов – кто?

– Город. Гляди в окно, вот он!

За окном двигалась земля; темная, обрывистая, она курилась туманом, напоминая большой кусок хлеба, только что отрезанный от каравая.

– А куда бабушка ушла?

– Внука хоронить.

– Его в землю зароят?

– А как же? Зароят.

Я рассказал матросу, как зарыли живых лягушек, хороня отца. Он поднял меня на руки, тесно прижал к себе и поцеловал.

– Эх, брат, ничего ты еще не понимаешь! – сказал он. – Лягушек жалеть не надо, Господь с ними! Мать пожалей, – вон как ее горе ушибло!

Над нами загудело, завывало. Я уже знал, что это – пароход, и не испугался, а матрос торопливо опустил меня на пол и бросился вон, говоря:

– Надо бежать!

И мне тоже захотелось убежать. Я вышел за дверь. В полутемной узкой щели было пусто. Недалеко от двери блестела медь на ступенях лестницы. Взглянув вверх, я увидел людей с котомками и узлами в руках. Было ясно, что все уходит с парохода, – значит, и мне нужно уходить.

Но когда вместе с толпою мужиков я очутился у борта парохода, перед мостками на берег, все стали кричать на меня:

– Это чей? Чей ты?

– Не знаю.

Меня долго толкали, встряхивали, щупали. Наконец явился седой матрос и схватил меня, объяснив:

– Это астраханский, из каюты...

Бегом он снес меня в каюту, сунул на узлы и ушел, грозя пальцем:

– Я тебе задам!

Шум над головою становился всё тише, пароход уже не дрожал и не бухал по воде. Окно каюты загородила какая-то мокрая стена; стало темно, душно, узлы точно распухли, стесняя меня, и всё было нехорошо. Может быть, меня так и оставят навсегда одного в пустом пароходе?

Подошел к двери. Она не отворяется, медную ручку ее нельзя повернуть. Взяв бутылку с молоком, я со всею силой ударил по ручке. Бутылка разбилась, молоко облило мне ноги, натекло в сапоги.

Огорченный неудачей, я лег на узлы, заплакал тихонько и, в слезах, уснул.

А когда проснулся, пароход снова бухал и дрожал, окно каюты горело, как солнце. Бабушка, сидя около меня, чесала волосы и морщилась, что-то нашептывая. Волос у нее было странно много, они густо покрывали ей плечи, грудь, колени и лежали на полу, черные, отливая синим. Приподнимая их с пола одною рукою и держа на весу, она с трудом вводила в толстые пряди деревянный редкозубый гребень; губы ее кривились, темные глаза сверкали сердито, а лицо в этой массе волос стало маленьким и смешным.

Сегодня она казалась злою, но когда я спросил, отчего у нее такие длинные волосы, она сказала вчерашним теплым и мягким голосом:

– Видно, в наказание Господь дал, – расчеши-ка вот их, окаянные! Смолоду я гривой этой хвасталась, на старости клянусь! А ты спи! Еще рано, – солнышко чуть только с ночи поднялось...

– Не хочу уж спать!

– Ну, ино не спи, – тотчас согласилась она, заплетая косу и поглядывая на диван, где вверх лицом, вытянувшись струною, лежала мать. – Как это ты вчера бутылку-то раскокал? Тихонько говори!

Говорила она, как-то особенно выпевая слова, и они легко укреплялись в памяти моей, похожие на цветы, такие же ласковые, яркие, сочные. Когда она улыбалась, ее темные, как вишни, зрачки расширялись, вспыхивая невыразимо приятным светом, улыбка весело обнажала белые крепкие зубы, и, несмотря на множество морщин в темной коже щек, всё лицо казалось молодым и светлым. Очень портил его этот рыхлый нос с раздутыми ноздрями и красный на конце. Она нюхала табак из черной табакерки, украшенной серебром. Вся она – темная, но светилась изнутри – через глаза – неугасимым, веселым и теплым светом. Она сутула, почти горбатая, очень полная, а двигалась легко и ловко, точно большая кошка, – она и мягкая такая же, как этот ласковый зверь.

До нее как будто спал я, спрятанный в темноте, но явилась она, разбудила, вывела на свет, связала всё вокруг меня в непрерывную нить, сплела всё в разноцветное кружево и сразу стала на всю жизнь другом, самым близким сердцу моему, самым понятным и дорогим человеком, – это ее бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни.

Сорок лет назад пароходы плавали медленно; мы ехали до Нижнего очень долго, и я хорошо помню эти первые дни насыщения красотой.

Установилась хорошая погода; с утра до вечера я с бабушкой на палубе, под ясным небом, между позолоченных осенью, шелками шитых берегов Волги. Не торопясь, лениво и гулко бухая плечами по серовато-синей воде, тянется вверх по течению светло-рыжий пароход, с баржой на длинном буксире. Баржа серая и похожа на мокрицу. Незаметно плывет над Волгой солнце; каждый час всё вокруг ново, всё меняется; зеленые горы – как пышные складки на богатой одежде земли; по берегам стоят города и села, точно пряничные издали; золотой осенний лист плывет по воде.

– Ты гляди, как хорошо-то! – ежеминутно говорит бабушка, переходя от борта к борту, и вся сияет, а глаза у нее радостно расширены.

Часто она, заглядевшись на берег, забывала обо мне: стоит у борта, сложив руки на груди, улыбается и молчит, а на глазах слезы. Я дергаю ее за темную, с набойкой цветами, юбку.

– Ась? – встрепенется она. – А я будто задремала да сон вижу.

– А о чем плачешь?

– Это, милый, от радости да от старости, – говорит она, улыбаясь. – Я ведь уж старая, за шестой десяток лета-вёсны мои перекинулись-пошли.

И, понюхав табаку, начинает рассказывать мне какие-то диковинные истории о добрых разбойниках, о святых людях, о всяком зверье и нечистой силе.



Сказки она рассказывает тихо, таинственно, наклонясь к моему лицу, заглядывая в глаза мне расширенными зрачками, точно вливая в сердце мое силу, приподнимающую меня. Говорит, точно поет, и чем дальше, тем складней звучат слова. Слушать ее невыразимо приятно. Я слушаю и прошу:

- Еще!

- А еще вот как было: сидит в подпечке старичок домовый, занозил он себе лапу лапшой, качается, хныкает: «Ой, мышеньки, больно, ой, мышата, не стерплю!»

Подняв ногу, она хватается за нее руками, качает ее на весу и смешно морщит лицо, словно ей самой больно.

Вокруг стоят матросы – бородатые ласковые мужики, – слушают, смеются, хвалят ее и тоже просят:

- А ну, бабушка, расскажи еще чего! Потом говорят:

- Айда ужинать с нами!

За ужином они угощают ее водкой, меня – арбузами, дыней; это делается скрытно: на пароходе едет человек, который запрещает есть фрукты, отнимает их и выбрасывает в реку. Он одет похоже на будочника – с медными пуговицами – и всегда пьяный; люди прячутся от него.

Мать редко выходит на палубу и держится в стороне от нас. Она всё молчит, мать. Ее большое стройное тело, темное, железное лицо, тяжелая корона заплетенных в косы светлых волос, – вся она мощная и твердая, – вспоминаются мне как бы сквозь туман или прозрачное облако; из него отдаленно и неприветливо смотрят прямые серые глаза, такие же большие, как у бабушки.

Однажды она строго сказала:

- Смеются люди над вами, мамаша!

- А Господь с ними! – беззаботно ответила бабушка. – А пускай смеются, на доброе им здоровье!

Помню детскую радость бабушки при виде Нижнего. Дергая за руку, она толкала меня к борту и кричала:

– Гляди, гляди, как хорошо! Вот он, батюшка, Нижний-то! Вот он какой, Богов! Церкви-те, гляди-ка ты, летят будто!

И просила мать, чуть не плача:

– Варюша, погляди, чай, а? Поди, забыла ведь! Порадуйся!

Мать хмуро улыбалась.

Когда пароход остановился против красивого города, среди реки, тесно загроможденной судами, оцетинившейся сотнями острых мачт, к борту его подплыла большая лодка со множеством людей, подцепилась багром к спущенному трапу, и один за другим люди из лодки стали подниматься на палубу. Впереди всех быстро шел небольшой сухонький старичок, в черном длинном одеянии, с рыжей, как золото, бородкой, с птичьим носом и зелеными глазками.

– Папаша! – густо и громко крикнула мать и опрокинулась на него, а он, хватая ее за голову, быстро гладя щеки ее маленькими красными руками, кричал, взвизгивая:

– Что-о, дура? Ага-а! То-то вот... Эх вы-и... Бабушка обнимала и целовала как-то сразу всех, вертись, как винт; она толкала меня к людям и говорила торопливо:

– Ну, скорее! Это – дядя Михайло, это – Яков... Тетка Наталья, это – братья, оба Саши, сестра Катерина, это всё наше племя, вот сколько!

Дедушка сказал ей:

– Здорова ли, мать?

Они троекратно поцеловались.

Дед выдернул меня из тесной кучи людей и спросил, держа за голову:

- Ты чей таков будешь?

- Астраханский, из каюты...

- Чего он говорит? - обратился дед к матери и, не дождавшись ответа, отодвинул меня, сказав:

- Скулы-те отцовы... Слезайте в лодку! Съехали на берег и толпой пошли в гору, по съезду, мощенному крупным булыжником, между двух высоких откосов, покрытых жухлой, примятой травой.

Дед с матерью шли впереди всех. Он был ростом под руку ей, шагал мелко и быстро, а она, глядя на него сверху вниз, точно по воздуху плыла. За ними молча двигались дядья: черный гладковолосый Михаил, сухой, как дед; светлый и кудрявый Яков, какие-то толстые женщины в ярких платьях и человек шесть детей, все старше меня и все тихие. Я шел с бабушкой и маленькой теткой Натальей. Бледная, голубоглазая, с огромным животом, она часто останавливалась и, задыхаясь, шептала:

- Ой, не могу!

- Нашто они тревожили тебя? - сердито ворчала бабушка. - Эко неумное племя!

И взрослые и дети - все не понравились мне, я чувствовал себя чужим среди них, даже и бабушка как-то померкла, отдалилась.

Особенно же не понравился мне дед; я сразу почуял в нем врага, и у меня явилось особенное внимание к нему, опасливое любопытство.

Дошли до конца съезда. На самом верху его, прислонясь к правому откосу и начиная собою улицу, стоял приземистый одноэтажный дом, окрашенный грязно-розовой краской, с нахлобученной низкой крышей и выпученными окнами. С улицы он показался мне большим, но внутри его, в маленьких полутемных комнатах, было тесно; везде, как на пароходе перед пристанью, суетились сердитые люди, стайей вороватых воробьев метались ребятишки, и

всюду стоял едкий, незнакомый запах.

Я очутился на дворе. Двор был тоже неприятный: весь завешан огромными мокрыми тряпками, заставлен чанами с густой разноцветной водой. В ней тоже мокли тряпицы. В углу, в низенькой полуразрушенной пристройке, жарко горели дрова в печи, что-то кипело, булькало, и невидимый человек громко говорил странные слова:

- Сандал - фуксин - купорос...

II

Началась и потекла со страшной быстротой густая, пестрая, невыразимо странная жизнь. Она вспоминается мне, как суровая сказка, хорошо рассказанная добрым, но мучительно правдивым гением. Теперь, оживляя прошлое, я сам порою с трудом верю, что всё было именно так, как было, и многое хочется оспорить, отвергнуть, - слишком обильна жестокостью темная жизнь «неумного племени».

Но правда выше жалости, и ведь не про себя я рассказываю, а про тот тесный, душный круг жутких впечатлений, в котором жил, - да и по сей день живет, - простой русский человек.

Дом деда был наполнен горячим туманом взаимной вражды всех со всеми; она отравляла взрослых, и даже дети принимали в ней живое участие. Впоследствии из рассказов бабушки я узнал, что мать приехала как раз в те дни, когда ее

братья настойчиво требовали у отца раздела имущества. Неожиданное возвращение матери еще более обострило и усилило их желание выделиться. Они боялись, что моя мать потребует приданого, назначенного ей, но удержанного дедом, потому что она вышла замуж «самокруткой», против его воли. Дядья считали, что это приданое должно быть поделено между ними. Они тоже давно и жестоко спорили друг с другом о том, кому открыть мастерскую в городе, кому – за Окой, в слободе Кунавине.

Уже вскоре после приезда, в кухне во время обеда, вспыхнула ссора: дядья внезапно вскочили на ноги и, перегибаясь через стол, стали выть и рычать на дедушку, жалобно скаля зубы и встряхиваясь, как собаки, а дед, стуча ложкой по столу, покраснел весь и звонко – петухом – закричал:

– По миру пуцу!

Болезненно искривив лицо, бабушка говорила:

– Отдай им всё, отец, – спокойней тебе будет, отдай!

– Цыц, потатчица! – кричал дед, сверкая глазами, и было странно, что, маленький такой, он может кричать столь оглушительно.

Мать встала из-за стола и, не торопясь отойдя к окну, повернулась ко всем спиной.

Вдруг дядя Михаил ударил брата наотмашь по лицу; тот взвыл, сцепился с ним, и оба покатались по полу, хрипя, охая, ругаясь.

Заплакали дети, отчаянно закричала беременная тетка Наталья; моя мать потащила ее куда-то, взяв в охапку; веселая рябая нянька Евгенийя выгоняла из кухни детей; падали стулья; молодой широкоплечий подмастерье Цыганок сел верхом на спину дяди Михаила, а мастер Григорий Иванович, плешивый, бородатый человек в темных очках, спокойно связывал руки дяди полотенцем.

Вытянув шею, дядя терся редкой черной бородою по полу и хрипел страшно, а дедушка, бегая вокруг стола, жалобно вскрикивал:

– Братья, а! Родная кровь! Эх вы-и...

Я еще в начале ссоры, испугавшись, вскочил на печь и оттуда в жутком изумлении смотрел, как бабушка смывает водою из медного ручкомойника кровь с разбитого лица дяди Якова; он плакал и топал ногами, а она говорила тяжелым голосом:

– Окаянные, дик?ое племя, опомнитесь!

Дед, натягивая на плечо изорванную рубаху, кричал ей:

– Что, ведьма, народила зверья?

Когда дядя Яков ушел, бабушка сунулась в угол, потрясающе воя:

– Пресвятая Мати Божия, верни разум детям моим! Дед встал боком к ней и, глядя на стол, где всё было опрокинуто, пролито, тихо проговорил:

– Ты, мать, гляди за ними, а то они Варвару-то изведут, чего доброго...

– Полно, Бог с тобой! Сними-ка рубаху-то, я зашью... И, сжав его голову ладонями, она поцеловала деда в лоб; он же, – маленький против нее, – ткнулся лицом в плечо ей:

– Надо, видно, делиться, мать...

– Надо, отец, надо!

Они говорили долго; сначала дружелюбно, а потом дед начал шаркать ногой по полу, как петух перед боем, грозил бабушке пальцем и громко шептал:

– Знаю я тебя, ты их больше любишь! А Мишка твой – езуит, а Яшка – фармазон! И пропьют они добро мое, промотают...

Неловко повернувшись на печи, я свалил утюг; загремев по ступеням влаза, он шлепнулся в лохань с помоями. Дед впрыгнул на ступень, стащил меня и стал

смотреть в лицо мне так, как будто видел меня впервые.

– Кто тебя посадил на печь? Мать?

– Я сам.

– Врешь.

– Нет, сам. Я испугался.

Он оттолкнул меня, легонько ударив ладонью в лоб.

– Весь в отца! Пошел вон... Я был рад убежать из кухни.

Я хорошо видел, что дед следит за мною умными и зоркими зелеными глазами, и боялся его. Помню, мне всегда хотелось спрятаться от этих обжигающих глаз. Мне казалось, что дед злой; он со всеми говорит насмешливо, обидно, подзадоривая и стараясь рассердить всякого.

– Эх вы-и! – часто восклицал он; долгий звук «и-и» всегда вызывал у меня скучное, зябкое чувство.

В час отдыха, во время вечернего чая, когда он, дядья и работники приходили в кухню из мастерской, усталые, с руками, окрашенными сандалом, обожженными купоросом, с повязанными тесемкой волосами, все похожие на темные иконы в углу кухни, – в этот опасный час дед садился против меня и, вызывая зависть других внуков, разговаривал со мною чаще, чем с ними. Весь он был складной, точеный, острый. Его атласный, шитый шелками, глухой жилет был стар, вытерт, ситцевая рубаха измята, на коленях штанов красовались большие заплаты, а все-таки он казался одетым и чище и красивей сыновей, носивших пиджаки, манишки и шелковые косынки на шеях.

Через несколько дней после приезда он заставил меня учить молитвы. Все другие дети были старше и уже учились грамоте у дьячка Успенской церкви; золотые главы ее были видны из окон дома.

Меня учила тихонькая, пугливая тетка Наталья, женщина с детским личиком и такими прозрачными глазами, что, мне казалось, сквозь них можно было видеть всё сзади ее головы.

Я любил смотреть в глаза ей подолгу, не отрываясь, не мигая; она щурилась, вертела голову и просила тихонько, почти шепотом:

– Ну, говори, пожалуйста: «Отченаш, иже еси...» И если я спрашивал: «Что такое – яко же?» – она, пугливо оглянувшись, советовала:

– Ты не спрашивай, это хуже! Просто говори за мною: «Отченаш...» Ну?

Меня беспокоило: почему спрашивать хуже? Слово «яко же» принимало скрытый смысл, и я нарочно всячески искажал его:

– «Яковже», «явкоже»...

Но бледная, словно тающая тетка терпеливо поправляла голосом, который всё прерывался у нее:

– Нет, ты говори просто: «яко же»...

Но и сама она и все ее слова были не просты. Это раздражало меня, мешая запомнить молитву. Однажды дед спросил:

– Ну, Олешка, чего сегодня делал? Играл! Вижу по желваку на лбу. Это не велика мудрость желвак нажать! А «Отче наш» заучил?

Тетка тихонько сказала:

– У него память плохая.

Дед усмехнулся, весело приподняв рыжие брови.

– А коли так, – высечь надо! И снова спросил меня:



- Тебя отец сек?

Не понимая, о чем он говорит, я промолчал, а мать сказала:

- Нет, Максим не бил его, да и мне запретил.

- Это почему же?

- Говорил, битьем не выучишь.

- Дурак он был во всем, Максим этот, покойник, прости Господи! - сердито и четко проговорил дед.

Меня обидели его слова. Он заметил это.

- Ты что губы надул? Ишь ты...

И, погладив серебристо-рыжие волосы на голове, он прибавил:

- А я вот в субботу Сашку за наперсток пороть буду.

- Как это пороть? - спросил я. Все засмеялись, а дед сказал:

- Погоди, увидишь...

Притаившись, я соображал: пороть - значит расшивать платья, отданные в краску, а сечь и бить - одно и то же, видимо. Бьют лошадей, собак, кошек; в Астрахани будочники бьют персиян, - это я видел. Но я никогда не видал, чтоб так били маленьких, и хотя здесь дядья щелкали своих то по лбу, то по затылку, - дети относились к этому равнодушно, только почесывая ушибленное место. Я не однажды спрашивал их:

- Больно?

И всегда они храбро отвечали:

– Нет, нисколечко!

Шумную историю с наперстком я знал. Вечерами, от чая до ужина, дядя и мастер сшивали куски окрашенной материи в одну «штуку» и пристегивали к ней картонные ярлыки. Желая пошутить над полуслепым Григорием, дядя Михаил велел девятилетнему племяннику накалить на огне свечи наперсток мастера. Саша зажал наперсток щипцами для снятия нагара со свеч, сильно накалил его и, незаметно подложив под руку Григория, спрятался за печку, но как раз в этот момент пришел дедушка, сел за работу и сам сунул палец в каленый наперсток.

Помню, когда я прибежал в кухню на шум, дед, схватившись за ухо обожженными пальцами, смешно прыгал и кричал:

– Чье дело, басурмане?

Дядя Михаил, согнувшись над столом, гонял наперсток пальцем и дул на него; мастер невозмутимо шил; тени прыгали по его огромной лысине; прибежал дядя Яков и, спрятавшись за угол печи, тихонько смеялся там; бабушка терла на терке сырой картофель.

– Это Сашка Яковов устроил! – вдруг сказал дядя Михаил.

– Врешь! – крикнул Яков, выскочив из-за печи. А где-то в углу его сын плакал и кричал:

– Папа, не верь. Он сам меня научил!

Дядья начали ругаться. Дед же сразу успокоился, приложил к пальцу тертый картофель и молча ушел, захватив с собой меня.

Все говорили – виноват дядя Михаил. Естественно, что за чаем я спросил – будут ли его сечь и пороть?

– Надо бы, – проворчал дед, искоса взглянув на меня.

Дядя Михаил, ударив по столу рукою, крикнул матери:

– Варвара, уйми своего щенка, а то я ему башку сверну!

Мать сказала:

– Попробуй, тронь... И все замолчали.

Она умела говорить краткие слова как-то так, точно отталкивала ими людей от себя, отбрасывала их, и они умалялись.

Мне было ясно, что все боятся матери; даже сам дедушка говорил с нею не так, как с другими, – тише.

Это было приятно мне, и я с гордостью хвастался перед братьями:

– Моя мать – самая сильная! Они не возражали.

Но то, что случилось в субботу, надорвало мое отношение к матери.

До субботы я тоже успел провиниться.

Меня очень занимало, как ловко взрослые изменяют цвета материй: берут желтую, мочат ее в черной воде, и материя делается густо-синей – «кубовой»; полощут серое в рыжей воде, и оно становится красноватым – «бордо». Просто, а – непонятно.

Мне захотелось самому окрасить что-нибудь, и я сказал об этом Саше Яковову, серьезному мальчику; он всегда держался на виду у взрослых, со всеми ласковый, готовый всем и всячески услужить. Взрослые хвалили его за послушание, за ум, но дедушка смотрел на Сашу искоса и говорил:

– Экой подхалим!

Худенький, темный, с выпученными, рачьими глазами, Саша Яковов говорил торопливо, тихо, захлебываясь словами, и всегда таинственно оглядывался, точно собираясь бежать куда-то, спрятаться. Карие зрачки его были

неподвижны, но, когда он возбуждался, дрожали вместе с белками.

Он был неприятен мне. Мне гораздо больше нравился малозаметный увалень Саша Михайлов, мальчик тихий, с печальными глазами и хорошей улыбкой, очень похожий на свою кроткую мать. У него были некрасивые зубы; они высовывались изо рта и в верхней челюсти росли двумя рядами. Это очень занимало его; он постоянно держал во рту пальцы, раскачивая, пытаясь выдернуть зубы заднего ряда, и покорно позволял щупать их каждому, кто желал. Но ничего более интересного я не находил в нем. В доме, битком набитом людьми, он жил одиноко, любил сидеть в полутемных углах, а вечером у окна. С ним хорошо было молчать – сидеть у окна, тесно прижавшись к нему, и молчать целый час, глядя, как в красном вечернем небе вокруг золотых луковиц Успенского храма вьются-мечутся черные галки, взмывают высоко вверх, падают вниз и, вдруг покрыв угасающее небо черною сетью, исчезают куда-то, оставив за собою пустоту. Когда смотришь на это, говорить ни о чем не хочется и приятная скука наполняет грудь.

А Саша дяди Якова мог обо всем говорить много и солидно, как взрослый. Узнав, что я желаю заняться ремеслом красильщика, он посоветовал мне взять из шкапа белую праздничную скатерть и окрасить ее в синий цвет.

– Белое всего легче красится, уж я знаю! – сказал он очень серьезно.

Я вытащил тяжелую скатерть, выбежал с нею на двор, но когда опустил край ее в чан с «кубовой», на меня налетел откуда-то Цыганок, вырвал скатерть и, отжимая ее широкими лапами, крикнул брату, следившему из сеней за моею работой:

– Зови бабушку скорее!

И, зловеще качая черной лохматой головою, сказал мне:

– Ну, и попадет же тебе за это!

Прибежала бабушка, заохала, даже заплакала, смешно ругая меня:

– Ах ты, пермяк, солены уши! Чтоб те приподняло да шлепнуло!

Потом стала уговаривать Цыганка:

– Уж ты, Ваня, не сказывай дедушке-то! Уж я спрячу дело; авось обойдется как-нибудь...

Ванька озабоченно говорил, вытирая мокрые руки разноцветным передником:

– Мне что? Я не скажу; глядите, Сашутка не наябедничал бы!

– Я ему семишник дам, – сказала бабушка, уводя меня в дом.

В субботу, перед всенощной, кто-то привел меня в кухню; там было темно и тихо. Помню плотно прикрытые двери в сени и в комнаты, а за окнами серую муть осеннего вечера, шорох дождя. Перед черным челом печи на широкой скамье сидел сердитый, непохожий на себя Цыганок; дедушка, стоя в углу у лохани, выбирал из ведра с водою длинные прутья, мерял их, складывая один с другим, и со свистом размахивал ими по воздуху. Бабушка, стоя где-то в темноте, громко нюхала табак и ворчала:

– Ра-ад... мучитель...

Саша Яковов, сидя на стуле среди кухни, тер кулаками глаза и не своим голосом, точно старенький нищий, тянул:

– Простите Христа ради...

Как деревянные, стояли за стулом дети дяди Михаила, брат и сестра, плечом к плечу.

– Высеку – прощу, – сказал дедушка, пропуская длинный влажный прут сквозь кулак. – Ну-ка, снимай штаны-то!..

Говорил он спокойно, и ни звук его голоса, ни возня мальчика на скрипучем стуле, ни шарканье ног бабушки, – ничто не нарушало памятной тишины в сумраке кухни, под низким закопченным потолком.

Саша встал, расстегнул штаны, спустил их до колен и, поддерживая руками, согнувшись, спотыкаясь, пошел к скамье. Смотреть, как он идет, было нехорошо, у меня тоже дрожали ноги.

Но стало еще хуже, когда он покорно лег на скамью вниз лицом, а Ванька, привязав его к скамье под мышки и за шею широким полотенцем, наклонился над ним и схватил черными руками ноги его у щиколоток.

- Лексей, - позвал дед, - иди ближе!.. Ну, кому говорю?.. Вотгляди, как секут... Раз!..

Невысоко взмахнув рукой, он хлопнул прутом по голому телу. Саша взвизгнул.

- Врешь, - сказал дед, - это не больно! А вот эдак больней!

И ударил так, что на теле сразу загорелась, вспухла красная полоса, а брат протяжно завыл.

- Не сладко? - спрашивал дед, равномерно поднимая и опуская руку. - Не любишь? Это за наперсток!

Когда он взмахивал рукой, в груди у меня всё поднималось вместе с нею; падала рука - и я весь точно падал.

Саша визжал страшно тонко, противно:

- Не буду-у... Ведь я же сказал про скатерть... Ведь я сказал...

Спокойно, точно Псалтырь читая, дед говорил:

- Донос - не оправданье! Доносчику первый кнут. Вот тебе за скатерть!

Бабушка кинулась ко мне и схватила меня на руки, закричав:

- Лексея не дам! Не дам, изверг!

Она стала бить ногою в дверь, призывая:

- Варя, Варвара!..

Дед бросился к ней, сшиб ее с ног, выхватил меня и понес к лавке. Я бился в руках у него, дергал рыжую бороду, укусил ему палец. Он орал, тискал меня и наконец бросил на лавку, разбив мне лицо. Помню дикий его крик:

- Привязывай! Убью!..

Помню белое лицо матери и ее огромные глаза. Она бегала вдоль лавки и хрипела:

- Папаша, не надо!.. Отдайте...

Дед засек меня до потери сознания, и несколько дней я хворал, валяясь вверх спиною на широкой жаркой постели в маленькой комнате с одним окном и красной, неугасимой лампадой в углу пред киотом со множеством икон.

Дни нездоровья были для меня большими днями жизни. В течение их я, должно быть, сильно вырос и почувствовал что-то особенное. С тех дней у меня явилось беспокойное внимание к людям, и, точно мне содрали кожу с сердца, оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли, своей и чужой.

Прежде всего меня очень поразила ссора бабушки с матерью: в тесноте комнаты бабушка, черная и большая, лезла на мать, заталкивая ее в угол, к образам, и шипела:

- Ты что не отняла его, а?

- Испугалась я.

- Эдакая-то здоровенная! Стыдись, Варвара! Я - старуха, да не боюсь! Стыдись!..

- Отстаньте, мамаша: тошно мне...

- Нет, не любишь ты его, не жаль тебе сироту! Мать сказала тяжело и громко:

- Я сама на всю жизнь сирота!

Потом они обе долго плакали, сидя в углу на сундуке, и мать говорила:

- Если бы не Алексей, ушла бы я, уехала! Не могу жить в аду этом, не могу, мамаша! Сил нет...

- Кровь ты моя, сердце мое, - шептала бабушка. Я запомнил: мать - не сильная; она, как все, боится деда. Я мешаю ей уйти из дома, где она не может жить. Это было очень грустно. Вскоре мать действительно исчезла из дома. Уехала куда-то гостить.

Как-то вдруг, точно с потолка спрыгнув, явился дедушка, сел на кровать, пощупал мне голову холодной, как лед, рукою:

- Здравствуй, сударь... Да ты ответь, не сердись!.. Ну, что ли?..

Очень хотелось ударить его ногой, но было больно пошевелиться. Он казался еще более рыжим, чем был раньше; голова его беспокойно качалась; яркие глаза искали чего-то на стене. Вынув из кармана пряничного козла, два сахарных рожка, яблоко и ветку синего изюма, он положил всё это на подушку, к носу моему.

- Вот, видишь, я тебе гостинца принес! Нагнувшись, поцеловал меня в лоб; потом заговорил, тихо поглаживая голову мою маленькой жесткой рукою, окрашенной в желтый цвет, особенно заметный на кривых, птичьих ногтях.

- Я тебя тогда перетово, брат. Разгорячился очень; укусил ты меня, царапал, ну, и я тоже рассердился! Однако не беда, что ты лишнее перетерпел, - в зачет пойдет! Ты знай: когда свой, родной бьет, - это не обида, а наука! Чужому не давайся, а свой ничего! Ты думаешь, меня не били? Меня, Олеша, так били, что ты этого и в страшном сне не увидишь. Меня так обижали, что, поди-ка, сам Господь Бог глядел - плакал! А что вышло? Сирота, нищей матери сын, я вот дошел до своего места, - старшиной цеховым сделан, начальник людям.



Привалившись ко мне сухим, складным телом, он стал рассказывать о детских своих днях словами крепкими и тяжелыми, складывая их одно с другим легко и ловко.

Его зеленые глаза ярко разгорелись и, весело ощетинившись золотым волосом, сгустив высокий свой голос, он трубил в лицо мне:

– Ты вот пароходом прибыл, пар тебя вез, а я в молодости сам, своей силой супроти Волги баржи тянул. Баржа – по воде, я – по бережку, бос, по острому камню, по осыпям, да так от восхода солнца до ночи! Накалит солнышко затылок-то, голова, как чугуна, кипит, а ты, согнувшись в три погибели, – косточки скрипят, – идешь да идешь, и пути не видать, глаза п?отом залило, а душа-то плачется, а слеза-то катится, – эхма, Олеша, помалкивай! Идешь, идешь, да из лямки-то и вывалишься, мордой в землю – и тому рад; стало быть, вся сила чисто вышла, хоть отдыхай, хоть издыхай! Вот как жили у Бога на глазах, у милостивого Господа Иисуса Христа!.. Да так-то я трижды Волгу-мать вымерял: от Симбирского до Рыбинска, от Саратова досюдова да от Астрахани до Макарьева, до ярмарки, – в этом многие тысячи верст! А на четвертый год уж и водоливом пошел, – показал хозяину разум свой!..

Говорил он и – быстро, как облако, рос предо мною, превращаясь из маленького, сухого старичка в человека силы сказочной, – он один ведет против реки огромную серую баржу...

Иногда он соскакивал с постели и, размахивая руками, показывал мне, как ходят бурлаки в лямках, как откачивают воду; пел баском какие-то песни, потом снова молодо прыгал на кровать и, весь удивительный, еще более густо, крепко говорил:

– Ну, зато, Олеша, на привале, на отдыхе, летним вечером в Жигулях, где-нибудь, под зеленой горой, по-разложим, бывалочке, костры – кашицу варить, да как заведет горевой бурлак сердечную песню, да как вступится, грянет вся артель, – аж мороз по коже дернет, и будто Волга вся быстрее пойдет, – так бы, чай, конем и встала на дыбы, до самых облаков! И всякое горе – как пыль по ветру; до того люди запевались, что, бывало, и каша вон из котла бежит; тут кашевара по лбу половником надо бить: играй как хошь, а дело помни!

Несколько раз в дверь заглядывали, звали его, но я просил:

- Не уходи!

Он, усмехаясь, отмахивался от людей:

- Погодите там...

Рассказывал он вплоть до вечера, и, когда ушел, ласково простясь со мной, я знал, что дедушка не злой и не страшен. Мне до слез трудно было вспоминать, что это он так жестоко избил меня, но и забыть об этом я не мог.

Посещение деда широко открыло дверь для всех, и с утра до вечера кто-нибудь сидел у постели, всячески стараясь позабавить меня; помню, что это не всегда было весело и забавно. Чаще других бывала у меня бабушка; она и спала на одной кровати со мной; но самое яркое впечатление этих дней дал мне Цыганок. Квадратный, широкогрудый, с огромной кудрявой головой, он явился под вечер, празднично одетый в золотистую, шелковую рубаху, плисовые штаны и скрипучие сапоги гармоникой. Блестели его волосы, сверкали раскосые веселые глаза под густыми бровями и белые зубы под черной полоской молодых усов, горела рубаха, мягко отражая красный огонь неугасимой лампы.

- Ты глянь-ка, - сказал он, приподняв рукав, показывая мне голую руку до локтя в красных рубцах, - вон как разнесло! Да еще хуже было, зажило много!

- Чуешь ли: как вошел дед в ярость, и вижу, запорот он тебя, так начал я руку эту подставлять, ждал - переломится прут, дедушка-то отойдет за другим, а тебя и утащат бабаня али мать! Ну, прут не переломился, гибок, моченый! А все-таки тебе меньше попало, - видишь насколько? Я, брат, жуликоватый!..

Он засмеялся шелковым, ласковым смехом, снова разглядывая вспухшую руку, и, смеясь, говорил:

- Так жаль стало мне тебя, аж горло перехватывает, чую! Беда! А он хлещет...

Фыркая по-лошадиному, мотая головой, он стал говорить что-то про дела; сразу близкий мне, детски простой.

Я сказал ему, что очень люблю его, - он незабвенно просто ответил:

– Так ведь и я тебя тоже люблю, – за то и боль принял, за любовь! Али я стал бы за другого за кого? Наплевать мне...

Потом он учил меня тихонько, часто оглядываясь на дверь:

– Когда тебя вдругорядь сечь будут, ты, гляди, не сжимайся, не сжимай тело-то, – чуешь? Вдвойне больней, когда тело сожмешь, а ты распусти его свободно, чтоб оно мягко было, – киселем лежи! И не надувайся, дыши вовсю, кричи благим матом, – ты это помни, это хорошо!

Я спросил:

– Разве еще сечь будут?

– А как же? – спокойно сказал Цыганок. – Конечно, будут! Тебя, поди-ка, часто будут драть...

– За что?

– Уж дедушка сыщет...

И снова озабоченно стал учить:

– Коли он сечет с навеса, просто сверху кладет лозу, – ну, тут лежи спокойно, мягко; а ежели он с оттяжкой сечет, – ударит да к себе потянет лозину, чтобы кожу снять, – так и ты виляй телом к нему, за лозой, понимаешь? Это легче!

Подмигнув темным косым глазом, он сказал:

– Я в этом деле умнее самого квартального! У меня, брат, из кожи хоть голицы шей!

Я смотрел на его веселое лицо и вспоминал бабушкины сказки про Ивана-царевича, про Иванушку-дурачка.

Когда я выздоровел, мне стало ясно, что Цыганок занимает в доме особенное место: дедушка кричал на него не так часто и сердито, как на сыновей, а за глаза говорил о нем, жмурясь и покачивая головою:

– Золотые руки у Иванка, дуй его горой! Помяните мое слово: не мал человек растет!

Дядья тоже обращались с Цыганком ласково, дружески и никогда не «шутили» с ним, как с мастером Григорием, которому они почти каждый вечер устраивали что-нибудь обидное и злое: то нагреют на огне ручки ножниц, то воткнут в сиденье его стула гвоздь вверх острием или подложат, полуслепому, разноцветные куски материи, – он сошьет их в одну «штуку», а дедушка ругает его за это.

Однажды, когда он спал после обеда в кухне на полатях, ему накрасили лицо фуксином, и долго он ходил смешной, страшный: из серой бороды тускло смотрят два круглых пятна очков, и уныло опускается длинный багровый нос, похожий на язык.

Они были неистощимы в таких выдумках, но мастер всё сносил молча, только кричал тихонько да, прежде чем дотронуться до утюга, ножниц, щипцов или наперстка, обильно смачивал пальцы слюною. Это стало его привычкой; даже за обедом, перед тем как взять нож или вилку, он муслил пальцы, возбуждая смех детей. Когда ему было больно, на его большом лице являлась волна морщин и, странно скользнув по лбу, приподняв брови, пропадала где-то на голом черепе.

Не помню, как относился дед к этим забавам сыновей, но бабушка грозила им кулаком и кричала:

– Бесстыжие рожи, злыдни!

Но и о Цыганке за глаза дядья говорили сердито, насмешливо, порицали его работу, ругали воров и лентяем. Я спросил бабушку, отчего это. Охотно и понятно, как всегда, она объяснила мне:

– А видишь ты, обоим хочется Ванюшку себе взять, когда у них свои-то мастерские будут, вот они друг перед другом и хают его: дескать, плохой работник! Это они врут, хитрят. А еще боятся, что не пойдет к ним Ванюшка, останется с дедом; а дед – своенравный, он и третью мастерскую с Иванкой завести может, – дядьям-то это невыгодно будет, понял?

Она тихонько засмеялась:

– Хитрят всё, Богу на смех! Ну, а дедушка хитрости эти видит да нарочно дразнит Яшу с Мишей: «Куплю, говорит, Ивану рекрутскую квитанцию, чтобы его в солдаты не забрали: мне он самому нужен!» А они сердятся, им этого не хочется, и денег жаль, – квитанция-то дорогая!

Теперь я снова жил с бабушкой, как на пароходе, и каждый вечер перед сном она рассказывала мне сказки или свою жизнь, тоже подобную сказке. А про деловую жизнь семьи, – о выделе детей, о покупке дедом нового дома для себя, – она говорила посмеиваясь, отчужденно, как-то издали, точно соседка, а не вторая в доме по старшинству.

Я узнал от нее, что Цыганок – подкидыш; раннею весной, в дождливую ночь, его нашли у ворот дома на лавке.

– Лежит, в запон обернут, – задумчиво и таинственно сказывала бабушка, – еле попискивает, заоченел уж.

– А зачем подкидывают детей?

– Молока у матери нет, кормить нечем; вот она узнает, где недавно дитя родилось да померло, и подсунет туда своего-то.

Помолчав, почесавши голову, она продолжала, вздыхая, глядя в потолок:

– Бедность всё, Олеша; такая бывает бедность, что и говорить нельзя! И считается, что незамужняя девица не смей родить, – стыдно-де! Дедушка хотел было Ванюшку-то в полицию нести, да я отговорила: возьмем, мол, себе; это Бог нам послал в тех место, которые померли. Ведь у меня восемнадцать было рожено; кабы все жили, – целая улица народу, восемнадцать-то домов! Я, гляди, на четырнадцатом году замуж отдана, а к пятнадцати уж и родила; да вот полюбил Господь кровь мою, всё брал да и брал ребятишек моих в ангелы. И жалко мне, а и радостно!

Сидя на краю постели в одной рубахе, вся осыпанная черными волосами, огромная и лохматая, она была похожа на медведицу, которую недавно приводил на двор бородатый, лесной мужик из Сергача. Крестя снежно-белую, чистую грудь, она тихонько смеется, колышется вся:

– Получше себе взял, похуже мне оставил. Очень я обрадовалась Иванке, – уж больно люблю вас, маленьких! Ну, и приняли его, окрестили, вот он и живет, хорош. Я его вначале Жуком звала, – он, бывало, ужжал особенно, – совсем жук, ползет и ужжит на все горницы. Люби его – он простая душа!

Я и любил Ивана и удивлялся ему до немоты.

По субботам, когда дед, перепоров детей, нагрешивших за неделю, уходил ко всенощной, в кухне начиналась неописуемо забавная жизнь: Цыганок доставал из-за печи черных тараканов, быстро делал нитяную упряжь, вырезывал из бумаги сани, и по желтому, чисто выскобленному столу разъезжала четверка вороных, а Иван, направляя их бег тонкой лучиной, возбужденно визжал:

– За архереем поехали!

Приклеивал на спину таракана маленькую бумажку, гнал его за санями и объяснял:

– Мешок забыли. Монах бежит, тащит!

Связывал ножки таракана ниткой; насекомое ползло, тыкаясь головой, а Ванька кричал, прихлопывая ладонями:

– Дьячок из кабака к вечерней идет!

Он показывал мышат, которые под его команду стояли и ходили на задних лапах, волоча за собою длинные хвосты, смешно мигая черненькими бусинами бойких глаз. С мышами он обращался бережно, носил их запазухой, кормил изо рта сахаром, целовал и говорил убедительно:

– Мышь – умный житель, ласковый, ее домовый очень любит! Кто мышей кормит, тому и дед-домовик мирволит...

Он умел делать фокусы с картами, деньгами, кричал больше всех детей и почти ничем не отличался от них. Однажды дети, играя с ним в карты, оставили его «дураком» несколько раз кряду, – он очень опечалился, обиженно надул губы и бросил игру, а потом жаловался мне, шмыгая носом:

– Знаю я, они уговорились! Они перемигивались, карты совали друг другу под столом. Разве это игра? Жульничать я сам умею не хуже...

Ему было девятнадцать лет, и был он больше всех нас четверых, взятых вместе.

Но особенно он памятен мне в праздничные вечера, когда дед и дядя Михаил уходили в гости, в кухне являлся кудрявый, встрепанный дядя Яков с гитарой, бабушка устраивала чай с обильной закуской и водкой в зеленом штофе с красными цветами, искусно вылитыми из стекла на дне его; волчком вертелся празднично одетый Цыганок; тихо, боком приходил мастер, сверкая темными стеклами очков; нянька Евгенья, рябая, краснорожая и толстая, точно кубышка, с хитрыми глазами и трубным голосом; иногда присутствовали волосатый успенский дьячок и еще какие-то темные, скользкие люди, похожие на щук и налимов.

Все много пили, ели, вздыхая тяжело, детям давали гостинцы, по рюмке сладкой наливки, и постепенно разгоралось жаркое, но странное веселье.

Дядя Яков любовно настраивал гитару, а настроив, говорил всегда одни и те же слова:

– Ну-с, я начну-с!

Встряхнув кудрями, он сгибался над гитарой, вытягивал шею, точно гусь; круглое, беззаботное лицо его становилось сонным; живые, неуловимые глаза угасали в масляном тумане, и, тихонько пощипывая струны, он играл что-то размычивое, невольно поднимавшее на ноги.

Его музыка требовала напряженной тишины; торопливым ручьем она бежала откуда-то издали, просачивалась сквозь пол и стены и, волнуя сердце, выманивала непонятное чувство, грустное и беспокойное. Под эту музыку становилось жалко всех и себя самого, большие казались тоже маленькими, и все сидели неподвижно, притаясь в задумчивом молчании.

Особенно напряженно слушал Саша Михайлов; он всё вытягивался в сторону дяди, смотрел на гитару, открыв рот, и через губу у него тянулась слюна. Иногда он забывался до того, что падал со стула, тыкаясь руками в пол, и, если это случалось, он так уж и сидел на полу, вытаращив застывшие глаза.

И все застывали, очарованные; только самовар тихо поет, не мешая слушать жалобу гитары. Два квадрата маленьких окон устремлены во тьму осенней ночи, порою кто-то мягко постукивает в них. На столе качаются желтые огни двух сальных свеч, острые, точно копья.

Дядя Яков всё более цепенел; казалось, он крепко спит, сцепив зубы, только руки его живут отдельной жизнью: изогнутые пальцы правой неразличимо дрожали над темным голосником, точно птица порхала и билась; пальцы левой с неуловимой быстротой бегали по грифу.

Выпивши, он почти всегда пел сквозь зубы голосом, неприятно свистящим, бесконечную песню:

Быть бы Якову собакою —

Выл бы Яков с утра до ночи:



Ой, скушно мне!

Ой, грустно мне!

По улице монахиня идет;

На заборе ворона сидит.

Ой, скушно мне!

За печкою сверчок торохтит,

Тараканы беспокоятся.

Ой, скушно мне!

Нищий вывесил портянки сушить,

А другой нищий портянки украл!

Ой, скушно мне!

Да, ох, грустно мне!

Я не выносил этой песни и, когда дядя запевал о нищих, буйно плакал в невыносимой тоске.

Цыганок слушал музыку с тем же вниманием, как все, запустив пальцы в свои черные космы, глядя в угол и посапывая. Иногда он неожиданно и жалобно восклицал:

- Эх, кабы голос мне, - пел бы Господи! Бабушка, вздыхая, говорила:

- Будет тебе, Яша, сердце надрывать! А ты бы, Ванятка, поплясал...

Они не всегда исполняли просьбу ее сразу, но бывало, что музыкант вдруг на секунду прижимал струны ладонью, а потом, сжав кулак, с силою отбрасывал от себя на пол что-то невидимое, беззвучное и ухарски кричал:

- Прочь, грусть-тоска! Ванька, становись! Охорашиваясь, одергивая желтую рубаху, Цыганок осторожно, точно по гвоздям шагая, выходил на середину кухни; его смуглые щеки краснели, и, сконфуженно улыбаясь, он просил:

– Только почаще, Яков Васильич!

Бешено звенела гитара, дробно стучали каблуки, на столе и в шкапу дребезжала посуда, а среди кухни огнем пылал Цыганок, реял коршуном, размахнув руки, точно крылья, незаметно передвигая ноги; гикнув, приседал на пол и метался золотым стрижом, освещая всё вокруг блеском шелка, а шелк, содрогаясь и струясь, словно горел и плавился.

Цыганок плясал неумоимо, самозабвенно, и казалось, что, если открыть дверь на волю, он так и пойдет плясом по улице, по городу, неизвестно куда...

– Режь поперек! – кричал дядя Яков, притопывая. И пронзительно свистел и раздражающим голосом выкрикивал прибаутки:

Эхма! Кабы не было мне жалко лаптей,

Убежал бы от жены и от детей!

Людей за столом подергивало, они тоже порою вскрикивали, подвизгивали, точно их обжигало; бородатый мастер хлопал себя по лысине и урчал что-то. Однажды он, наклонясь ко мне и покрыв мягкой бородою плечо мое, сказал прямо в ухо, обращаясь, словно к взрослому:

– Отца бы твоего, Лексей Максимыч, сюда, – он бы другой огонь зажег!  
Радостный был муж, утешный. Ты его помнишь ли?

– Нет.

– Ну? Бывало, он да бабушка, – стой-ко, погоди!

Он поднялся на ноги, высокий, изможденный, похожий на образ святого, поклонился бабушке и стал просить ее необычно густым голосом:

– Акулина Ивановна, сделай милость, пройдишь разок! Как, бывало, с Максимом Савватеевым хаживала. Утешь!

– Что ты, свет, что ты, сударь, Григорий Иваныч? – посмеиваясь и пожевываясь, говорила бабушка. – Куда уж мне плясать! Людей смешить только...

Но все стали просить ее, и вдруг она молодо встала, оправила юбку, выпрямилась, вскинув тяжелую голову, и пошла по кухне, вскрикивая:

– А смейтесь, ино, на здоровье! Ну-ка, Яша, перетряхни музыку-то!

Дядя весь вскинулся, вытянулся, прикрыл глаза и заиграл медленнее; Цыганок на минуту остановился и, подскочив, пошел вприсядку кругом бабушки, а она плыла по полу бесшумно, как по воздуху, разводя руками, подняв брови, глядя куда-то вдаль темными глазами. Мне она показалась смешной, я фыркнул; мастер строго погрозил мне пальцем, и все взрослые посмотрели в мою сторону неодобрительно.

– Не стучи, Иван! – сказал мастер, усмехаясь; Цыганок послушно отскочил в сторону, сел на порог, а нянька Евгенья, выгнув кадык, запела низким приятным голосом:

Всю неделю, до субботы,

Плела девка кружева,

Истомилася работой, —

Эх, просто чуть жива!

Бабушка не плясала, а словно рассказывала что-то. Вот она идет тихонько, задумавшись, покачиваясь, поглядывая вокруг из-под руки, всё ее большое тело колеблется нерешительно, ноги щупают дорогу осторожно. Остановилась, вдруг испугавшись чего-то, лицо дрогнуло, нахмурилось и тотчас засияло доброй, приветливой улыбкой. Откачнулась в сторону, уступая кому-то дорогу, отводя рукой кого-то; опустив голову, замерла, прислушиваясь, улыбаясь всё веселее, – и вдруг ее сорвало с места, закружило вихрем, вся она стала стройней, выше ростом, и уж нельзя было глаз отвести от нее – так буйно красива и мила становилась она в эти минуты чудесного возвращения к юности! А нянька Евгенья гудела, как труба:

В воскресенье от обедни

До полуночи плясала.

Ушла с улицы последней,

Жаль, – праздника мало!

Кончив плясать, бабушка села на свое место к самовару; все хвалили ее, а она, поправляя волосы, говорила:

– А вы полноте-ка! Не видали вы настоящих-то плясуний. А вот у нас в Балахне была девка одна, – уж и не помню чья, как звали, – так иные, глядя на ее пляску, даже плакали в радости! Глядишь, бывало, на нее, – вот тебе и праздник, и боле ничего не надо! Завидовала я ей, грешница!

– Певцы да плясуны – первые люди на миру! – строго сказала нянька Евгенья и начала петь что-то про царя Давида, а дядя Яков, обняв Цыганка, говорил ему:

– Тебе бы в трактирах плясать, – с ума свел бы ты людей!..

– Мне голос иметь хочется! – жаловался Цыганок. – Ежели бы голос Бог дал, десять лет я бы попел, а после – хоть в монахи!

Все пили водку, особенно много – Григорий. Наливая ему стакан за стаканом, бабушка предупреждала:

– Гляди, Гриша, вовсе ослепнешь! Он отвечал солидно:

– Пускай! Мне глаза больше не надобны, – всё видел я...

Пил он, не пьянея, но становился всё более разговорчивым и почти всегда говорил мне про отца:

– Большого сердца был муж, дружок мой, Максим Савватеич...

Бабушка вздыхала, поддакивая:

– Да, Господне дитя...

Всё было страшно интересно, всё держало меня в напряжении, и от всего просачивалась в сердце какая-то тихая, неутомляющая грусть. И грусть и радость жили в людях рядом, нераздельно почти, заменяя одна другую с неувимой, непонятной быстротой.

Однажды дядя Яков, не очень пьяный, начал рвать на себе рубаху, яростно дергать себя за кудри, за редкие белесые усы, за нос и отвисшую губу.

– Что это такое, что? – выл он, обливаясь слезами. – Зачем это?

Бил себя по щекам, по лбу, в грудь и рыдал:

– Негодяй и подлец, разбитая душа! Григорий рычал:

– Ага-а! То-то вот!..

А бабушка, тоже нетрезвая, уговаривала сына, ловя его руки:

– Полно, Яша, Господь знает, чему учит! Выпивши, она становилась еще лучше: темные ее глаза, улыбаясь, изливали на всех греющий душу свет, и, обмахивая платком разгоревшееся лицо, она певуче говорила:

– Господи, Господи! Как хорошо всё! Нет, вы глядите, как хорошо-то всё!

Это был крик ее сердца, лозунг всей жизни.

Меня очень поразили слезы и крики беззаботного дяди. Я спросил бабушку, отчего он плакал и ругал и бил себя.

– Всё бы тебе знать! – неохотно, против обыкновения, сказала она. – Погоди, рано тебе торкаться в эти дела...

Это еще более возбудило мое любопытство. Я пошел в мастерскую и привязался к Ивану, но и он не хотел ответить мне, смеялся тихонько, искоса поглядывая на мастера, и, выталкивая меня из мастерской, кричал:

– Отстань, отойди! Вот я тебя в котел спущу, выкрашу!

Мастер, стоя перед широкой низенькой печью, со вмазанными в нее тремя котлами, помешивал в них длинной черной мешалкой и, вынимая ее, смотрел, как стекают с конца цветные капли. Жарко горел огонь, отражаясь на подоле кожаного передника, пестрого, как риза попа. Шипела в котлах окрашенная вода, едкий пар густым облаком тянулся к двери, по двору носился сухой поземок.

Мастер взглянул на меня из-под очков мутными, красными глазами и грубо сказал Ивану:

– Дров! Али не видишь?

А когда Цыганок выбежал на двор, Григорий, присев на куль сандала, поманил меня к себе:

– Подь сюда!

Посадил на колени и, уткнувшись теплой, мягкой бородой в щеку мне, памятно рассказал:

– Дядя твой жену насмерть забил, замучил, а теперь его совесть дергает, – понял? Тебе всё надо понимать, гляди, а то пропадешь!

С Григорием – просто, как с бабушкой, но жутко, и кажется, что он из-под очков видит всё насквозь.

– Как забил? – говорит он, не торопясь. – А так: ляжет спать с ней, накроет ее одеялом с головою и тискает, бьет. Зачем? А он, поди, и сам не знает.

И, не обращая внимания на Ивана, который, возвратясь с охапкой дров, сидит на корточках перед огнем, грея руки, мастер продолжает внушительно:

– Может, за то бил, что была она лучше его, а ему завидно. Каширины, брат, хорошего не любят, они ему завидуют, а принять не могут, истребляют! Ты вот спроси-ка бабушку, как они отца твоего со света сживали. Она всё скажет – она

неправду не любит, не понимает. Она вроде святой, хоть и вино пьет, табак нюхает. Блаженная как бы. Ты держись за нее крепко...

Он оттолкнул меня, и я вышел на двор, удрученный, напуганный. В сенях дома меня догнал Ванюшка, схватил за голову и шепнул тихонько:

- Ты не бойся его, он добрый; ты гляди прямо в глаза ему, он это любит.

Всё было странно и волновало. Я не знал другой жизни, но смутно помнил, что отец и мать жили не так: были у них другие речи, другое веселье, ходили и сидели они всегда рядом, близко. Они часто и подолгу смеялись вечерами, сидя у окна, пели громко; на улице собирались люди, глядя на них. Лица людей, поднятые вверх, смешно напоминали мне грязные тарелки после обеда. Здесь смеялись мало, и не всегда было ясно, над чем смеются. Часто кричали друг на друга, грозили чем-то один другому, тайно шептались в углах. Дети были тихи, незаметны; они прибиты к земле, как пыль дождем. Я чувствовал себя чужим в доме, и вся эта жизнь возбуждала меня десятками уколов, настраивая подозрительно, заставляя присматриваться ко всему с напряженным вниманием.

Моя дружба с Иваном всё росла; бабушка от восхода солнца до поздней ночи была занята работой по дому, и я почти весь день вертелся около Цыганка. Он всё так же подставлял под розги руку свою, когда дедушка сек меня, а на другой день, показывая опухшие пальцы, жаловался мне:

- Нет, это всё без толку! Тебе - не легче, а мне - гляди-ка вот! Больше я не стану, ну тебя!

И в следующий раз снова принимал ненужную боль.

- Ты ведь не хотел?

- Не хотел, да вот сунул... Так уж, как-то незаметно...

Вскоре я узнал про Цыганка нечто, еще больше поднявшее мой интерес к нему и мою любовь.

Каждую пятницу Цыганок запрягал в широкие сани гнедого мерина Шарапа, любимца бабушки, хитрого озорника и сластену, одевал короткий, до колен, полушубок, тяжелую шапку и, туго подпоясавшись зеленым кушаком, ехал на базар покупать провизию. Иногда он не возвращался долго. Все в доме беспокоились, подходили к окнам и, протаивая дыханием лед на стеклах, заглядывали на улицу.

- Не едет?

- Нет!

Больше всех волновалась бабушка.

- Эхма, - говорила она сыновьям и деду, - погубите вы мне человека и лошадь погубите! И как не стыдно вам, рожи бессовестные? Али мало своего? Ох, неумное племя, жадюги, - накажет вас Господь!

Дедушка хмуро ворчал:

- Ну, ладно. Последний раз это...

Иногда Цыганок возвращался только к полудню; дядья, дедушка поспешно шли на двор; за ними, ожесточенно нюхая табак, медведицей двигалась бабушка, почему-то всегда неуклюжая в этот час. Выбегали дети, и начиналась веселая разгрузка саней, полных поросятами, битой птицей, рыбой и кусками мяса всех сортов.

- Всего купил, как сказано было? - спрашивал дед, искоса острыми глазами ощупывая воз.

- Всё как надо, - весело отзывался Иван и, прыгая по двору, чтобы согреться, оглушительно хлопал рукавицами.

- Не бей голиц, за них деньги даны! - строго кричал дед. - Сдачаешь?

- Нету.



Дед медленно обходил вокруг воза и говорил негромко:

- Опять что-то много ты привез. Гляди, однако - не без денег ли покупал? У меня чтобы не было этого.

И уходил быстро, сморщив лицо.

Дядья весело бросались к возу и, взвешивая на руках птицу, рыбу, гусиные потроха, телячьи ноги, огромные куски мяса, посвистывали, одобрительно шумели:

- Ну, ловко отобрал!

Дядя Михаил особенно восхищался: пружинисто прыгал вокруг воза, принюхиваясь ко всему носом дятла, вкусно чмокая губами, сладко жмуря беспокойные глаза, сухой, похожий на отца, но выше его ростом и черный, как головня. Спрятав озябшие руки в рукава, он расспрашивал Цыгана:

- Тебе отец сколько дал?

- Пять целковых.

- А тут на пятнадцать. А сколько ты потратил?

- Четыре с гривной.

- Стало быть, девять гривен в кармане. Видал, Яков, как деньги р?остят?

Дядя Яков, стоя на морозе в одной рубахе, тихонько посмеивался, моргая в синее холодное небо.

- Ты нам, Ванька, по косушке поставь, - лениво говорил он.

Бабушка распрягала коня.

- Что, дитяtko? Что, котенок? Пошалить охота? Ну, побалуй, Бoгoвa забaвa!

Огромный Шарап, взмахивая густою гривой, цапал ее белыми зубами за плечо, срывал шелковую головку с волос, заглядывал в лицо ей веселым глазом и, встряхивая иней с ресниц, тихонько ржал.

- Хлебца просишь?

Она совала в зубы ему большую краюху, круто посоленную, мешком подставляла передник под морду и смотрела задумчиво, как он ест.

Цыганок, играючи тоже, как молодой конь, подскочил к ней.

- Уж так, бабаня, хорош мерин, так умен...

- Поди прочь, не верти хвостом! - крикнула бабушка, притопнув ногою. - Знаешь, что не люблю я тебя в этот день.

Она объяснила мне, что Цыганок не столько покупает на базаре, сколько ворует.

- Даст ему дед пятишницу, он на три рубля купит, а на десять украдет, - невесело говорила она. - Любит воровать, баловник! Раз попробовал, - ладно вышло, а дома посмеялись, похвалили за удачу, он и взял воровство в обычай. А дедушка смолоду бедности-горя досыта отведал - под старость жаден стал, ему деньги дороже детей кровных, он рад даровщине! А Михайло с Яковом...

Махнув рукой, она замолчала на минуту, потом, глядя в открытую табакерку, прибавила ворчливо:

- Тут, Леня, дела-кружева, а плела их слепая баба, где уж нам узор разобрать! Вот поймают Иванку на воровстве, - забьют до смерти...

И еще, помолчав, она тихонько сказала:

- Эхе-хе! Правил у нас много, а правды нет...

На другой день я стал просить Цыганка, чтоб он не воровал больше.

– А то тебя будут бить до смерти...

– Не достигнут, – вывернусь: я ловкий, конь резвый! – сказал он, усмехаясь, но тотчас грустно нахмурился. – Ведь я знаю: воровать нехорошо и опасно. Это я так себе, от скуки. И денег я не коплю, дядья твои за неделю-то всё у меня выманят. Мне не жаль, берите! Я сыт.

Он вдруг взял меня на руки, потряс тихонько.

– Легкий ты, тонкий, а кости крепкие, силач будешь. Ты знаешь что: учись на гитаре играть, проси дядю Якова, ей-богу! Мал ты еще, вот незадача! Мал ты, а сердитый. Дедушку-то не любишь?

– Не знаю.

– А я всех Кашириных, кроме бабани, не люблю, пускай их демон любит!

– А меня?

– Ты – не Каширин, ты – Пешков, другая кровь, другое племя...

И вдруг, стиснув меня крепко, он почти застонал:

– Эх, кабы голос мне певучий, ух ты, Господи! Вот ожег бы я народ... Иди, брат, работать надо...

Он спустил меня на пол, высыпал в рот себе горсть мелких гвоздей и стал натягивать, набивать на большую квадратную доску сырое полотнище черной материи.

Вскоре он погиб.

Случилось это так: на дворе, у ворот, лежал, прислонен к забору, большой дубовый крест с толстым суковатым комлем. Лежал он давно. Я заметил его в первые же дни жизни в доме, – тогда он был новее и желтей, но за осень сильно почернел под дождями. От него горько пахло мореным дубом, и был он на тесном, грязном дворе лишний.

Его купил дядя Яков, чтоб поставить над могилою своей жены, и дал обет отнести крест на своих плечах до кладбища в годовщину смерти ее.

Этот день наступил в субботу, в начале зимы; было морозно и ветрено, с крыш сыпался снег. Все из дома вышли на двор, дед и бабушка с тремя внучатами еще раньше уехали на кладбище служить панихиду; меня оставили дома в наказание за какие-то грехи.

Дядья, в одинаковых черных полушубках, приподняли крест с земли и встали под крылья; Григорий и какой-то чужой человек, с трудом подняв тяжелый комель, положили его на широкое плечо Цыганка; он пошатнулся, расставил ноги.

– Не сдюжишь? – спросил Григорий.

– Не знаю. Тяжело будто... Дядя Михаил сердито закричал:

– Отворяй ворота, слепой черт! А дядя Яков сказал:

– Стыдись, Ванька, мы оба жиже тебя!

Но Григорий, распахивая ворота, строго посоветовал Ивану:

– Глади же, не перемагайся! Пошли с Богом!

– Плешивая дура! – крикнул дядя Михаил с улицы.

Все, кто был на дворе, усмехнулись, заговорили громко, как будто всем понравилось, что крест унесли.

Григорий Иванович, ведя меня за руку в мастерскую, говорил:

– Может, сегодня дедушка не посетит тебя, – ласково глядит он...

В мастерской, усадив меня на грудку приготовленной в краску шерсти и заботливо окутав ею до плеч, он, понюхивая восходивший над котлами пар,

задумчиво говорил:

– Я, милый, тридцать семь лет дедушку знаю, в начале дела видел и в конце гляжу. Мы с ним раньше дружки-приятели были, вместе это дело начали, придумали. Он умный, дедушка! Вот он хозяином поставил себя, а я не сумел. Господь, однако, всех нас умнее: Он только улыбнется, а самый премудрый человек уж и в дураках мигает. Ты еще не понимаешь, что к чему говорится, к чему делается, а надобно тебе всё понимать. Сиротское житье трудное. Отец твой, Максим Савватеич, козырь был, он всё понимал, – за то дедушка и не любил его, не признавал...

Было приятно слушать добрые слова, глядя, как играет в печи красный и золотой огонь, как над котлами вздымаются молочные облака пара, оседая сизым инеем на досках косой крыши, – сквозь мохнатые щели ее видны голубые ленты неба. Ветер стал тише, где-то светит солнце, весь двор точно стеклянной пылью посыпан, на улице взвизгивают полозья саней, голубой дым вьется из труб дома, легкие тени скользят по снегу, тоже что-то рассказывая.

Длинный, костлявый Григорий, бородатый, без шапки, с большими ушами, точно добрый колдун, мешает кипящую краску и всё учит меня:

– Гляди всем прямо в глаза; собака на тебя бросится, и ей тоже, – отстанет...

Тяжелые очки надавили ему переносье, конец носа налился синей кровью и похож на бабушкин.

– Стой-ко? – вдруг сказал он, прислушиваясь, потом прикрыл ногою дверцу печи и прыжками побежал по двору. Я тоже бросился за ним.

В кухне, среди пола, лежал Цыганок, вверх лицом; широкие полосы света из окон падали ему одна на голову, на грудь, другая – на ноги. Лоб его странно светился; брови высоко поднялись; косые глаза пристально смотрели в черный потолок; темные губы, вздрагивая, выпускали розовые пузыри; из углов губ, по щекам, на шею и на пол стекала кровь; она текла густыми ручьями из-под спины.

Ноги Ивана неуклюже развалились, и видно было, что шаровары мокрые; они тяжело приклеились к половицам. Пол был чисто вымыт с дресвою. Он солнечно блестел. Ручьи крови пересекали полосы света и тянулись к порогу, очень яркие.

Цыганок не двигался, только пальцы рук, вытянутых вдоль тела, шевелились, цапаясь за пол, и блестели на солнце окрашенные ногти.

Нянька Евгенья, присев на корточки, вставляла в руку Ивана тонкую свечу; Иван не держал ее, свеча падала, кисточка огня тонула в крови; нянька, подняв ее, отирала концом запона и снова пыталась укрепить в беспокойных пальцах. В кухне плавал качающий шепот; он, как ветер, толкал меня с порога, но я крепко держался за скобу двери.

– Споткнулся он, – каким-то серым голосом рассказывал дядя Яков, вздрагивая и крутя головою. Он весь был серый, измятый, глаза у него выцвели и часто мигали.

– Упал, а его и придавило, – в спину ударило. И нас бы покалечило, да мы вовремя сбросили крест.

– Вы его и задавили, – глухо сказал Григорий.

– Да, – как же...

– Вы!

Кровь всё текла, под порогом она уже собралась в лужу, потемнела и как будто поднималась вверх. Выпуская розовую пену, Цыганок мычал, как во сне, и таял, становился всё более плоским, приклеиваясь к полу, уходя в него.

– Михайло в церковь погнал на лошади за отцом, – шептал дядя Яков, – а я на извозчика навалил его да скорее сюда уж... Хорошо, что не сам я под комель-то встал, а то бы вот...

Нянька снова прикрепляла свечу к руке Цыганка, капала на ладонь ему воском и слезами. Григорий громко и грубо сказал:

– Да ты в головах к полу прилепи, чуваша!

– И то.

– Шапку-то сними с него!

Нянька стянула с головы Ивана шапку; он тупо стукнулся затылком. Теперь голова его сбочилась, и кровь потекла обильней, но уже с одной стороны рта. Это продолжалось ужасно долго. Сначала я ждал, что Цыганок отдохнет, поднимется, сядет на полу и, сплюнув, скажет:

– Ф-фу, жарынь...

Так делал он, когда просыпался по воскресеньям, после обеда. Но он не вставал, всё таял. Солнце уже отошло от него, светлые полосы укоротились и лежали только на подоконниках. Весь он потемнел, уже не шевелил пальцами, и пена на губах исчезла. За теменем и около ушей его торчали три свечи, помахивая золотыми кисточками, освещая лохматые, досиня черные волосы, желтые зайчики дрожали на смуглых щеках, светился кончик острого носа и розовые губы.

Нянька, стоя на коленях, плакала, пришептывая:

– Голубчик ты мой, ястребенок утешный... Было жутко, холодно. Я залез под стол и спрятался там. Потом в кухню тяжело ввалился дед в енотовой шубе, бабушка в салопе с хвостами на воротнике, дядя Михаил, дети и много чужих людей. Сбросив шубу на пол, дед закричал:

– Сволочи! Какого вы парня зря извели! Ведь ему бы цены не было лет через пяток...

На пол валилась одежда, мешая мне видеть Ивана; я вылез, попал под ноги деда. Он отшвырнул меня прочь, грозя дядьям маленьким красным кулаком:

– Волки!

И сел на скамью, упершись в нее руками, сухо всхлипывая, говоря скрипучим голосом:

– Знаю я, – он вам поперек глоток стоял... Эх, Ванюшечка... дурачок! Что поделаешь, а? Что, – говорю, – поделаешь? Кони – чужие, вожжи – гнилые. Мать, невзлюбил нас Господь за последние года, а? Мать?

Распластавшись на полу, бабушка щупала руками лицо, голову, грудь Ивана, дышала в глаза ему, хватала за руки, мяла их и повалила все свечи. Потом она тяжело поднялась на ноги, черная вся, в черном блестящем платье, страшно вытаращила глаза и сказала негромко:

– Вон, окаянные!

Все, кроме деда, высыпались из кухни.

...Цыганка похоронили незаметно, непамятно.

#### IV

Я лежу на широкой кровати вчетверо укутан тяжелым одеялом, и слушаю, как бабушка молится Богу, стоя на коленях, прижав одну руку ко груди, другою неторопливо и нечасто крестясь.

На дворе стреляет мороз; зеленоватый лунный свет смотрит сквозь узорные – во льду – стекла окна, хорошо осветив доброе носатое лицо и зажигая темные глаза фосфорическим огнем. Шелковая головка, прикрыв волосы бабушки, блестит, точно кованая, темное платье шевелится, струится с плеч, расстилаясь по полу.



Кончив молитву, бабушка молча разденется, аккуратно сложит одежду на сундук в углу и подойдет к постели, а я притворюсь, что крепко уснул.

– Ведь врешь, поди, разбойник, не спишь? – тихонько говорит она. – Не спишь, мол, голуб? а душа? Ну-ко, давай одеяло!

Предвкушая дальнейшее, я не могу сдержать улыбки; тогда она рычит:

– А-а, так ты над бабушкой-старухой шутки шутить затеял!

Взяв одеяло за край, она так ловко и сильно дергает его к себе, что я подскакиваю в воздухе и, несколько раз перевернувшись, шлепаюсь в мягкую перину, а она хохочет:

– Что, редькин сын? Съел комара?

Но иногда она молится очень долго, я действительно засыпаю и уже не слышу, как она ложится.

Долгие молитвы всегда завершают дни огорчений, ссор и драк; слушать их очень интересно; бабушка подробно рассказывает Богу обо всем, что случилось в доме; грузно, большим холмом стоит на коленях и сначала шепчет невнятно, быстро, а потом густо ворчит:

– Ты, Господи, сам знаешь, – всякому хочется, что получше. Михайло-то старшой, ему бы в городе-то надо остаться, за реку ехать обидно ему, и место там новое, неиспытанное; что будет – неведомо. А отец, – он Якова больше любит. Али хорошо – неровно-то детей любить? Упрям старик, – Ты бы, Господи, вразумил его.

Глядя на темные иконы большими светящимися глазами, она советует Богу своему:

– Наведи-ко Ты, Господи, добрый сон на него, чтобы понять ему, как надобно детей-то делить!

Крестится, кланяется в землю, стучаясь большим лбом о половицу, и, снова выпрямившись, говорит внушительно:

– Варваре-то улыбнулся бы радостью какой! Чем она Тебя прогневала, чем грешней других? Что это: женщина молодая, здоровая, а в печали живет. И вспомяни, Господи, Григорья, – глаза-то у него всё хуже. Ослепнет, – по миру пойдет, нехорошо! Всю свою силу он на дедушку истратил, а дедушка разве поможет... О Господи, Господи...

Она долго молчит, покорно опустив голову и руки, точно уснула крепко, замерзла.

– Что еще? – вслух вспоминает она, приморщив брови. – Спаси, помилуй всех православных; меня, ДУРУ окаянную, прости, – Ты знаешь: не со зла грешу, а по глупому разуму.

И, глубоко вздохнув, она говорит ласково, удовлетворенно:

Конец ознакомительного фрагмента.

----

Купить: <https://telnovel.com/maksim-gorkiy/detstvo-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)